

Юз Алешковский

Синенький
скромный
платочек

Скорбная повесть

Юз Алешковский

Синенький скромный платочек. Скорбная повесть

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19147366
ISBN 9785447493189*

Аннотация

...Больше всего я люблю «Синенький скромный платочек» (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух – невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике. ...на приеме проступающего чужого слова и написан «Платочек». Одноногий ветеран, пациент дурдома Вдовушкин, пишет «крик чистосердечного признания» на обороте истории болезни маньяка, вообразившего себя «молодым Марксом»... Лев Лосев

Синенький скромный платочек Скорбная повесть Юз Алешковский

© Юз Алешковский, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Широкий читатель имени Юза Алешковского до сих пор практически не знает, хотя фильм по его книге «Кыш, два портфеля и целая неделя» видело не одно «подрастающее поколение», а его песня «Товарищ Сталин, вы большой ученый» на слуху у всех. Пока он жил в СССР, книжки печатал только детские («Два билета на электричку», «Чернобурая лиса», «Кыш и я в Крыму»), состоял в Союзе писателей, «по-таенные» свои рукописи давал читать с большим выбором и за рубеж практически не выпускал: большинство из них увидело свет только после отъезда в эмиграцию (с конца 1970-х Алешковский живет в США). В биографии не было той «изюминки», на которую клюет книжный рынок, — родился в 1929 году, отсидел несколько лет после войны на Дальнем Востоке, работал шофером, стал детским писа-

телем, – на что тут купишь читающую публику? И потому (а не только по причинам цензурного свойства) возвращение его тамошних публикаций в родные пределы задержалось до 1990 года, когда журнал «Искусство кино» напечатал повести «Кенгуру» и «Ру-ру (Русская рулетка)», альманах «Весть» издал «Николая Николаевича», «Рука» готовится к выходу в Эстонии, рассказы («Книга последних слов»), повести и романы – «Смерть в Москве», «Сломанная собака» ждут пока своего издателя.

Читатель «литературный», за редкими исключениями (впрочем, мал золотник, да дорог среди ценителей прозы Алешковского и Андрей Битов, и Сергей Бочаров, и Константин Щербаков), при этом имени досадливо морщится: сплошное хулиганство. Причем среди «супостатов» Алешковского не только и не столько официальные начальники, которым на роду написано относиться к нему с неприязнью, но и писатели с безупречной нравственностью и профессиональной репутацией. Так, в недавно опубликованной «Литературной газетой» внутренней рецензии старейшины прозаического цеха Олега Волкова на «Метрополь» все вошедшие в тот альманах материалы были разделены на хорошие, не очень и сплошное безобразие вроде Юза Алешковского. Не скрою: не была едина и редколлегия «ДН», когда решала, печатать нам «Синенький скромный платочек» или нет. Хотя «Скорбная повесть» вовсе не самое «крутое» его произведение, между тем как остальные книги пестрят лексикой

из области «материально-телесного низа», и даже в названии издательства, где сам себя печатает миддлтаунец Юз Алешковский, в звуковой подтекст убрано лихое неблагозвучие «Писатель-издатель».

Кого-то возмущала неканоничность обращения к теме войны и «подвига советского народа» в ней. Кого-то жестокая вольность обращения с ключевыми фигурами коммунистической истории, Лениным и Марксом, обретающимися по воле автора в сумасшедшем доме Кто-то был смущен как бы нелитературностью, «приблатненностью» интонации На самом деле все это – и принципиальная неканоничность авторской позиции, и показная «нелитературность» Алешковского – звенья одной цепи, ибо перед нами автор, заведомо настроенный враждебно по отношению к любому мифу – историческому ли, философскому ли, языковому ли – независимо от его «идеологического наполнения» и потому расшатывающий литературные прикрытия мифологизированного сознания. Стоит ли удивляться после этого, что в наше насквозь политизированное время многие прочитывают «Скорбную повесть» как памфлет?..

Есть миф о фронтовике. Персонаж Алешковского, участник войны Леонид Ильич Байкин жил счастливо, пока совпадал с границами этого мифа. Стоило ему из «границ» выпасть, черту переступить, вспомнить о раздвоенности собственного сознания, о том, что прожил он чужую жизнь, поменяв свои «замаранные» документы на «чистые» докумен-

ты убитого на войне товарища, как порушилась его внешне спокойная биография, но зато проснулась совесть, вернулась независимость и чувство правды. Письмо, которое пишет он из дурдома брезиденту Прежневу Юрию Андроповичу – свидетельство этого пробуждения от мифологического сна. Зато судьба его «довоенной» жены Нюшки, «утраченной» вместе с документами, являет пример противоположный. Из «розовой, после баньки», живой и непредсказуемой деревенской девицы превращается она в «женщину-мать», как бы встраиваясь в образ, отведенный ей идеологией.

Есть миф о революционном вожде. И потому, блистательно стилизуя ленинскую речь (Маркс в этом смысле Алешковскому удался значительно хуже) и заставляя своего «Вл. Ульянова», «Влиуля» писать на обороте Марксовой истории болезни бесконечные революционные обращения в Политбюро по бытовым, семейным и всемирно-историческим поводам, автор «Синенького скромного платочка» расшатывает и эти «устои»..

Но, несмотря на всю демонстративную неприбранность своих антимифологических текстов, Алешковский на самом деле строит их по строгим, классическим литературным законам. Сама тема дурдома автоматически пробуждает в его сознании чисто книжные переключки – в первую очередь, естественно, с «Записками сумасшедшего» и «Палатой №6» (читатель без труда узнает все параллели). Отсюда, как мне кажется, та усиленная слезливость «скорбной пове-

сти», на которую, конечно, все обратят внимание. Персонажи ее если не смеются, то плачут; автор, очевидно, надеялся, что читатель, омывшись в этих слезах, вспомнит прежде всего о звуках мещанской шарманки, деревенской «жалейки», а читатель вместо того вспоминает финал гоголевских «Записок».... «Матушка! Пожалей о своем больном дитятке!..» Больше того, образ Ильича-первого появляется здесь не только по «идеологическим», но и по чисто ассоциативным причинам. Тот, кто воскликнул: «Вся Россия – палата №6», рано или поздно сам должен побывать в этой палате; тут уж никуда не денешься. Что же до «заниженности» языка, нахальном выворачивании «высоких» тем... Антураж, он и есть антураж. Все это не что иное, как способ литературными средствами стилизовать нелитературность, «жизненность», неприкрытость реальности.

Вопрос в другом, – насколько, работая в рамках отечественной культурной традиции (а в этом отношении Алешковский традиционалист до мозга костей), возможно действительно до конца демифологизироваться. Удачен ли тут опыт Юза Алешковского, не создает ли он своим текстом новую мифологию «Жизни как она есть», «народа, освобождающегося от идеологии», и т. д.? – будем разбираться позже, когда повесть окончательно войдет в наш читательский обиход.

А. Архангельский

Памяти матери, отца и брата

Гражданин генсек, маршал брезидент Прежнев Юрий Андропович!

К вам регулярно в течение двух лет обращается Байкин Леонид Ильич с криком чистосердечного признания и с просьбами о восстановлении справедливости, то есть – лично я, обросший ложью с головы до ног и провонявший страхом, как солдатская портянка периода окружения.

Ни ответа, как говорится, ни привета не имею, хотя лечащий враг, вот именно не врач, не доктор, но враг не отказывает мне лично в бумаге и говорит:

– Пиши, Байкин, пиши, но не буянь. Читать интересно эту абракадабру. С тобой не соскучишься. Я, – говорит, – докторскую скоро защищу по письмам твоим и по истории твоей болезни.

Но этого письма-заявления Втупякину не видать! Не видать! Знайте же: никакой я не Байкин Леонид Ильич, а Вдовушкин Петр, отчество забыл в наказание самому себе за давностью лет.

В этом месте слезы капаят из глаз моих бесстыжих, обвожу ихние следы неровными кружочками в соответствии с формою клякс.

Плачу, но перехожу к делу, потому что бумаги мало. На истории болезни Карла Маркса пишу ввиду ротозейства проклятого оборотня Втупякина.

Третьего дня созвали нас на конференцию безумных читателей. Силком собрал, от телевизора оторвал лишением папирос-сигарет пригрозил.

– Вы, – говорит, – сволочи с манией преследования величия хлеб казенный тут жрете, советскую власть наихудшими помоями обливаете, на путь выздоровления от диссидентства вставать не желаете, но про «Малую землю» и слышать не хотите!

Вот и я хочу начать свое откровенное признание с того, что никакой «малой земли» на земле нету. Есть одна большая земля. Малая же земля – это луна, которая вызывает приливы крови к голове моей и соответственно отливы мочи сами знаете отчего.

Я воевал на земле, грешно жил на ней, натворил черт знает каких затей и завсегда считал луну землею малой.

Луну же в один прекрасный момент оккупировали американцы, в результате чего мы были вынуждены высадиться в Афганистане.

Так втолковал нам на конференции, после читки вслух «Малой земли», Втупякин.

Название вашенской книги надо переделать в интересах правды и назвать ее «луна». Если же назвать «Большая луна», то это несправедливо будет, вроде «Малой земли».

Ну, мы, конечно, вопросы задавали Втупякину насчет того, кто пишет за вас эти книги. Втупякин заявил, что, пока не сломлен империализм и внутренние диссиденты, ответ на такой вопрос является государственной партийной тайной, но что ленинскую премию за литературу поделят поровну между временно неизвестными писателями, наподобие того, как ее делят между космическими конструкторами и деятелями атомных бомб. А потом придет время и неизвестные писатели станут известными, чтобы народ наш узнал своих героев... Узнал бы! Узнал!

Тут я опять плачу невыносимо, потому что солдат-то неизвестный не я на самом деле, Вдовушкин Петр, а Байкин Леонид Ильич, и славы его всенародной не желаю, не хочу, настаиваю и протестую.

Жизнь прожита зря. Пора подводить итоги, маршал. Сдерживая слезы, перехожу к самым что ни на есть обстоятельствам второй мировой войны, но временно передаю перо Владимиру Ильичу, отлученному главврачом дурдома Втупякиным от чистой бумаги. Его-то за что держат тут? Ведь если б не он, то вся ваша шобла землю пахала, у станков стояла, делом занималась бы, а не развалом сельского хозяйства. Сосед по койке в корень смотрит. Передаю перо. Сам иду курить, чтобы сузить сосуды и слезы сдержать.

Товарищ генсек! Товарищи члены политбюро! Прошу срочно собрать экстренное заседание и разобрать чрезвычайное дело Вдовушкина Петра. Архинелено не доверять

в наше время признанию изолгавшегося негодая. Товарищ Вдовушкин, находясь с 22 июня 1941 года в рядах Красной Армии, пытался скрыть сыновнее родство с расстрелянным врагом народа ярым кронштадцем Вдовушкиным (sic!) С этой целью Вдовушкин-сын (курсив мой. В. Л.) в смертельном бою обменял свои документы на документы Байкина Леонида Ильича. Эрнст Мах может краснеть, ибо народ метко заклеил подобные штучки чудеснейшим глаголом «махнуться».

Священный долг коммунистов не только поддерживать тов. Вдовушкина, но и организовать решительное наступление на стратегические и сырьевые интересы США во всех важнейших регионах мира (см. посланные мною еще в июне на изнанке молочного пакета январские тезисы). Только тупицы из шайки Маха – Авенариуса не могут понять, что закопанный в первичное, эрго, в материю, неизвестный солдат является Байкиным Леонидом Ильичом, а находившийся в идеалистическом состоянии Вдовушкин Петр – сын злейшего кронштадца и тред-юниониста Вдовушкина старшего.

Смерти подобно ослабление нашей титанической борьбы с мировым общественным мнением – этим гнусным служаккой империализма. Оно (общественное мнение, примеч. верно. – В. Л.) якобы обоснованно (см. мою докладную записку XIV съезду. В. Л.) считает нашу поддержку нац. осв. движения всего-навсего стратегически хитрой мотивировкой,

фактически фиговым листком (курсив мой. – В. Л.), прикрывающим гегемонистские неоимперские цели родины социализма. Передайте большевистское мерси советским композиторам за их нечеловеческую музыку. После нее хочется бить по головкам и левых, и правых, и центристов. Всех! Должен признаться, что чтение вашей трилогии обнадежило меня в том, что мы придем к победе коммунистического труда в литературе над трудом одиночек, этих беспартийных снобов, окончательно погрязших в болоте так называемого самовыражения.

Пусть ЦК обратят внимание на то, что я фактически лишен писчей бумаги, а переписка с политбюро на истории болезни Карла Маркса – вопиющий нонсенс. Чувствую себя хорошо. Питание преотвратнейшее. Хочется временами чего-нибудь вкусненького. Пора завоевать общий рынок с его несметными продзапасами. Жду свидания с Наденькой. Вот выпишусь и доспорим с путаником Сусловым относительно опасности обуржуазивания партбюрократии совноменклатуры. С комприветиком. Вл. Ульянов (Ленин).

Р. S. Все разговорчики о моей мании величия не что иное, как происки господ отзовистов и часть плана ликвидации нашей партии.

Р. S. S. Электрон практически неисчерпаем.

Р. S. S. S. Надеюсь, что решение политбюро о тов. Вдовушкине будет положительным, поскольку советские профсоюзы – школа коммунизма.

Ваш Вл. Ленин (Ульянов).

Вот, маршал, и покурил солдат Вдовушкин. В сортире чего только не наслушаешься. Сразу тянет хохотать, а не плакать – слезы лить – о погибшей понапрасну жизни.

В блоке нашем имеется пара душ диссидентов. Втупякин их называет по-медицински чокнутыми шизиками. Непонятно это, маршал. Непонятно. Люди все правильно говорят, все до правдивости подчеркивают, от себя ни слова не прибавляют, а их – в дурдом! Я своим крестьянским умом мало чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы – говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий – раб малооплачиваемый и пьющий вусмерть. Что, вы сами что ли не видите? А верить в Бога почему людям не велите? Верно люди говорят, что только в старом Риме христианам было хуже, чем сейчас. Человек на Пасху в церкву пошел, а его лягавые мало того, что не пустили, но еще и бока, сволочи, намяли, и безумцем объявили, чтобы право отбить жаловаться прокурору на инвалидные побои со стороны милиции. Какое уж тут право человеческое? У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лает и куснуть в случае чего может. Мы же – терпи и не гавкай, не то в дурдом – под электрошок, инсулин и проклятую химию!

А ведь диссиденты все вежливые, культурные и внимательные, с Втупякиным в спор не вступают из-за поганой пищи и прочих многочисленных мытарств. Душевные они

люди, маршал, и народ свой русский любят, еврейский, татарский, украинский, армянский и литовский не меньше вашего. Вот могли ведь сейчас в сортире Ленина поколотить, а не поколотили. Ведь он приходит и говорит:

– Поставлю вопрос об экспроприации сигарет у врагов коммунизма и революции! Курение, – говорит, – это никотин для народа!

Ну, Карл Маркс и набросился на Владимира Ильича с пеной на губах.

– Ты, – орет, – учение мое обдристал и меня с дерьмом смешал, а еще молодому Марксу курить не даешь, большевистская рожа, сифилитик, садист!

Еле Ильича отняли у Карлы. Его-то за что держат тут? А, главное, бороду ему Втупякин не разрешает отращивать. Ты, говорит, вовсе не молодой Маркс, а проходимец, кассу обокрал, основоположником теперь прикидываешься! Не положена тебе борода никогда?

А я так считаю: поскольку человек без бороды не похож, конечно, на Карла Маркса, то надо разрешить ему отращивать бороду, а уж потом глядеть, кто он таков есть на самом деле. Может, он даже не Карл Маркс, а Энгельс или какой-нибудь Лев Толстой. Неужели, маршал, непонятно это?

Я вот пишу, а когда слезы душат, историю Марксовой болезни читаю. Никакая это не болезнь. Верно все человек говорит, верно. Ни в коем случае нельзя в наше время пролетариям соединяться. У нас-то ведь в семнадцатом соедини-

лись они – тут всем им и крышка пришла. Прихлопнули их Ленин со Сталиным вместе с ихней диктатурой как зайцев и теперь, как говорится, ни бзднуть, ни пернуть измученной душе.

Перехожу, однако, к своему делу. Как сейчас помню, башка на части рвется, душа в пятки ушла, что делать, не знаем никто, снаряды с минами рвутся, пули вжикают, вверху рев, с боков крики, стоны, каша кровавая, только рядом человек был, старшина, смотрю – голова евовная в каске лежит, как бы в миске глубокой, и ухмыляется, глаза на меня снизу вверх так и таращит, а где сам, неизвестно. Не видать ничего в дыму. Где фронт? Где тыл? Где фланги? Ничего не видать. Только комиссар орет: «За Родину! За Сталина, сволочи, за власть Советов!» А я бы и рад, может, за родину помереть, всем миром все же помирали, но за Сталина помирать, было в душе такое мнение, ни за что мне не хотелось. Плевал я на него сколько себя помню. Разве же не сумасшедшее это дело помирать за кровопийцу, который родителей твоих расстрелял и тебя самого чуть не извел, спасибо бабка в деревню увезла? Потом к тому же землю отнял, в колхоз загнал, жилы все из нас вытянул, с Гитлером дружбу завел. Мало того, что завел, скотину нашу на ливерную колбасу к нему погнал. Мы же девятый хер без соли доедали, простите, маршал, за выражение.

Так вот, как услышу «за родину», так вперед меня тянет, врукопашную, страха нету ни в пятках, ни в душе. Как до-

бавит комиссар «за Сталина», так словно кто подножку мне ставит и заворачивает силком в другую, значит, от врага сторону. И со многими солдатами, по-моему, то же самое происходило. Почему бы мы тогда отступали и отступили по самую Москву? Только по этой причине. Других, по моим прикидкам, не было. Никакая сила, маршал, не помешает солдату помереть за родину. Верно?

А комиссаров у нас сменилось за месяц с начала войны – тьма. Им же велено было вперед выбегать, «за родину, за Сталина» орать. Вот они и выбегали поначалу и орали. Тут их и подстреливали, безголовых, или в плен брали, потому что летят они сломя голову с «ТТ» в руках, а солдаты на 180 градусов и снова – ничком в окоп, коленки в подбородки вжимать, Богу молиться о спасении от муки смертной. Тогда приказ Сталин дал, чуял, сволочь, что солдат помирать за него не хочет, забегать комиссарам не вперед, а назад, в тыл солдатам, и шпокать, без сомнения, в лоб каждого отступающего. Тут комиссары пуще прежнего вопить стали «за родину, за Сталина». Глотки-то у них с семнадцатого года луженые и, главное дело, орать то одну пустобрешину, то иную.

Что делать солдату? Гитлер на него танками прет, бомбы сверху на него сыплет, пулями свет Божий прошел, нету мочи сопротивляться; С тылу же комиссар гонит тебя, клонит, как травиночку, под косящую косу мосластой шкелетены, смерти то есть. Что солдату делать? Ежели помереть в два

счета, а это проще простого, что с Родиной-то станет? Может, Сталин с Гитлером столковались, чтоб извести нас всех с лица земли, зажали с двух концов, спереди танки-минометы, сзади – комиссары. Правда, к каждому солдату комиссара не приставишь. Народу больше было, слава Богу, чем ихнего горластого брата. И это решило судьбу войны. Сминал солдат комиссара, назад откатывался, отступал, так сказать, жизнь спасая для будущего боя, и зло лишь брало, что сталинскую рябую усатую харю спасал тем самым вместе с Родиной.

Ладно, думалось, при, фюрер, при, зараза волчья, при, те, крысы фашизма. Заманим мы вас по-кутузовски в конце концов в такую крысоловку, что кровью похаркаете почище, чем мы харкаем сейчас.

Победили мы? Победили. Сам солдат победил, гражданин генсек, а не ваши комиссарские глотки. Солдат победил всенародный, и я – русский Иван в том числе, а не вы – маршал-генералиссимус с золотой сабелькой и тремя «героями». Стыдно. Стыдно, генсек.

Ох, как зарыдал я тогда от стыда неимоверного, невыносимого, самой смерти страшней который, как я тогда. Господи, зарыдал. Век не забуду.

Помните, генсек? Никиту вы скинули, сами к креслу приросли и, разумеется, постепенно зажрались. А своре вашей только того и надо. Облизывать вас принялись, бесстыжие, на глазах всего честного народа. Одну звездочку геройскую

дали, затем вторую. Затем сабельку золотую на белых партийных рученьках поднесли. Вы ее приняли с важным видом. Затем маршала вломили вам. Бриллианты на шею повесили, словно царю-батюшке, а вы и бровями не пошевелили. Не проснулась в вас совесть, не обмерла от нахальства душа, не сказали вы своим жополизам с серьезными партийными лицами: «Буде, братцы. Вы уж ...тово... перегнули слегка».

Не сказали, не взяли сабельку золотую и все ваши дармовые звезды с бриллиантами, не отнесли их к Кремлевской стене на могилу Неизвестного Солдата, не положили на красный мрамор рядом с синим огнем и не извинились перед безмолвным навек прахом следующим образом:

– Прости, солдат. Прости. От души говорю. Зажрался. С вождями это бывает. Твое это – все золото, бриллианты, сабли, ордена, медали, прости. Может, не погибни, сидел бы ты сейчас на моем месте, а я лежал бы себе тут в покое и тишине исполненного долга. Никакой я, конечно, судьбы войны не решил, будучи кадровым комиссаром, а лишь печать ставил на партбилеты после боя и выжившим их вручал, священнодействуя как бы. И не был я, солдат, душою новороссийской операции. Прости. Но и пойми; не может народ без чего-либо такого, что напоминает ему царя-батюшку, чтобы хоть повздыхал народ, избывая тоску свою с семнадцатого года, глядя на грудь богатырскую маршальскую, орденами увешанную. Народ – он что ребенок. Если батька помер – отчима ему подавай. Не для себя лично вешаем мы на мундиры

все эти погремушки-побрякушки, поверь, а исключительно для народа, для веселия его душевного и развлекательности зрения. Так что прости, солдат. Царство тебе небесное!

Сделали вы так, генсек? Сказали вы так, маршал? Нет! А я сказал и сделал.

Гляжу на вас тогда по телику и чую вдруг: белеет лицо мое, не краснеет, а именно белеет от смертельного стыда, растерзавшего разрывной пулей совесть и душу.

Боже мой. Что я наделал? Как я жил?.. Рыдания враз затрясли меня, почище инсулинового шока...

Бегу, не в силах жить на земле в прежнем образе, прямо на могилку Неизвестного Солдата, то есть самого себя, вернее Вдовушкина Петра, но в конечном счете Байкина Леонида Ильича, каковым и числюсь по истории болезни, приписанной мне Втупякиным – кандидатом сумасшедших наук.

Разъяснения потом. Все разъяснения потом, ибо, сдерживая слезы, стараюсь изложить непременно и главное.

Прибегаю, реву не в голос, по-бабьи, а внутрих и стенаю так, что ребрышко каждое холодной болью продувается, и чую некоторую предпоследнюю опустелость, нечто вроде смерти, одним словом.

Падаю на колени перед негасимым синим огнем с розовым венчиком от дождя осеннего, морозящего, падаю, ударяюсь о мраморный гранит кающимся лбом и стенаю:

– Леня! Все сделаю. Все. Ты тут будешь лежать, а не я. Прости. Не надо мне славы твоей посмертной. Я ведь думал,

что живой – я, а ты – мертвый, но все теперь наоборот. Прости... Исправлю такое положение? Незамедлительно исправлю. Все на свои места встанет. Жизнь доживу вполне откровенно, а у тебя времени – до Страшного Суда, перед которым могу предстать хоть сейчас, ибо отдаленность его для меня – пытка. Пытка. Прости, Леня!

Лечу, словно птица на одном крыле, обратно домой. Беру фанеры лист. Палку к нему прибиваю. Пишу на фанере чернильным карандашом, как на посылках в деревню временами:

ЗДЕСЬ НАВЕКИ ЗАХОРОНЕН ИЗВЕСТНЫЙ РЯДОВОЙ СОЛДАТ Л. И. БАЙКИН.

«Погиб смертью храбрых» не стал я писать, так как это было бы неправдой. Не было ни в нем тогда, ни во мне никакой храбрости, а лишь страсть была спасти солдатские наши, нужные Родине жизни от непростительной, дураковатой смерти, на которую, маршал, жестоко и подло обрекли нас Гитлер со своим дружкой Сталиным.

Несу плакат на могилу, несу с легкостью необыкновенной, хотя корчусь от въевшегося в душу стыда... Дождь льет. Ветер под дых колошматит, плакат из рук выбивает и вырывает...

Вбиваю его булыгой случайной с правой стороны могилы в землю. Крест пририсовываю наш православный над фамилией и говорю:

– Хватит, Леня. Будь ты Байкиным теперь самим собою,

а я принимаю прежнее истинное свое имя Вдовушкина Петра. Прости.

С этими словами ухожу... Дома радуюсь, ну прямо как маленький мальчик. Чист! Чист! Главное – чист, а все остальное приложится: и возмездье за злодейство многолетнее, и пользование чужой славой в корыстных целях, и так далее и все такое прочее...

Хлобыстнул самогонки. Откуда у отечественного инвалида деньги на водку, маршал? Нас каждый божий день не зовут в кремлевский дворец жрать «столицу» и балыком ее же занюхивать. Мы самогонку гоним. И на том спасибо...

Весело мне, одним словом, в комнатенке моей бобылевской. Соседи дрыхнут. На работу им завтра. А если и разбудил я их пьяной, ранней и радостной своей песней, то попробуй сделай мне в такой момент замечание. Боже упаси! Протезом враз отколошмачу.

Всю ночь пою, надрываюсь... *«идет война народная, священная война. 22 июня ровно в четыре часа... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...,и у детской кровати тайком ты слезу вытираешь...»*

Пою и плачу, как вот сейчас. Но сейчас нету радости в моей душе и просвета искупления. Лишь гнев в ней, маршал, один гнев и обида на допущенные издевательства над телом и совестью инвалида... Но ладно...

Сижу, значит, пою, видение лица жены моей законной Нюшки, Настеньки, Анастасии усилием воли своей, покале-

ченной жизнью, прогоняю. Протез снял. Кулята блаженно от него отдыхает. А сама нога моя правая, знаете где, маршал? В могиле на площади Революции, рядышком с костями известного на самом деле солдата, а не неизвестного, рядом с Байкиным Леонидом Ильичом, другом моим боевым, верней, рядом с тем, что от него осталось... Плачу и пою – собака одинокая и затравленная наконец-то мстительной судьбой...

И то ли примечталось, то ли приснилось, но явственно вижу себя на поле того последнего моего боя, волокущего по грязище, по развозу осеннему Леню, друга моего, который начисто потерял от ужаса, унижения отступления, от заброшенности нашей солдатской желание продолжать жизнь. Потерял и – все.

Но во мне-то тогда силенок было, маршал, на две-три жизни. Семижилый был парень, с руками, с ногами, с рожей веселой, с головой не тупой, с добрым сердцем – нормальный, одним словом, русский человек, не до конца еще припохабленный советской крысиной властью...

Ад дьявольский по сравнению с тем полем боя домом отдыха, думается мне, был... На взрывы всякие, крики, стоны, пули, осколков свист, штурмовиков вой я уж вниманья не обращал. Ибо такая запредельная тоска пронизывала мне душу от того, что ползли мы по растерзанному, неубранному полю побитой, вытопанной, втопанной в прах земли, выжженной ржи, что кроме тощицы этой и настырной силы,

внушенной свыше, ничего во мне не было. Ничего.

– Леня, – хриплю яростно, – Леня, Бога побойся, пошевели ноженьками и рученьками, пошевели, не то не выползем мы, даже в плен не возьмут нас – такие жалкие мы и страшные небось, ползи, родной, спастись надо, а то кому же гнать обратно с поля нашего ржаного гадостное это воронье, фюреровские усики, сталинскую рожу рябую, пожалей, Леня, себя и меня..

Немного оставалось нам до низинки, до деревцев, измочаленных жутким железом... От танка спаслись. Прямо на нас пер. Окопчик нас спас. Танк дальше, в плоть земли нашей поперся, и вонища от него была, как от первого моего в жизни трактора. Как сейчас помню. Приятная такая дизельная вонища... Ужас вокруг, а душу захолонуло от страсти по мирному труду на крестьянском поле...

Окопчик от танка нас спас, но он же Леню и погубил.

Я уж думал: все – спасены... темнеет... до низинки дотянем, а там уж у пенька какого-нибудь прикорнем... черт с нею, с едой... сон важнее человеку любой еды... суток трое мы уже не спали... за что, Господи, такие дадены нам Тобою муки ужасные?

В этот-то момент и рвануло-шарахнуло до полного оглушения. Даже не знаю: успел я услышать сам взрыв или не успел... Неважно.

Отряхаюсь от земли, промаргиваюсь, дыхание налаживаю. Жив я – окаянный. Леня, мой друг, рядышком лежит,

словно спит, глаза закрыты, на губах – улыбка ребеночка. Потормошил я его слегка, а тормошить-то было нечего. Каша одна с костями от Лени осталась. Лицо лишь не тронуто. Весь взрыв на Леню пришелся. Тем и спасен я был, но непоравимо ранен. Лежу я поначалу и не ведаю: то ли жалеть друга, то ли радоваться за него. Не знает в такие времена человек, что лучше. Но живым жить надо.

Дрыгнул одной ногой – на месте. Дрыгнул второй – нету у меня второй ноги. Ясно это, причем без всякой в первые минуты боли. Мог бы ведь безболезненно уснуть и кровью во сне истечь до смерти. А почему боли не было – пускай Втупякин думает, на то он и кандидат наук. Может, еще тогда весь мозг от взрыва раком поставило. Не знаю, маршал.

Тянусь рукою к бедной ноге, неужели, думаю, по самую жопу отхватило, тогда хана... Но – нет. До коленки дотянулся – счастьем меня просто пронзило: цела коленка. Цела, Господи, спасибо Тебе за муки и спасение с частичными потерями.

Пальца на три ниже колена отрыв пришелся. Накладываю жгут, останавливаю кровь, брезентовый ремешок пригодился. Городской человек на моем месте сразу же или немного погода дуба врезал бы, а я – человек крестьянский, – губа не дура, мудер был с малолетства. Сам противогаз, как только обмундировали нас, выкинул я к едрене фене, а сумку набил жизненно важными причиндалами. Бинты. Махорка. Чай. Соль. Йод. Сухарики, правда, не осталось в сумке. Ру-

банули мы их с ЛенеЙ... Ну, и прочая мелкая штукovina была там вроде ножа, ложки, неважно, впрочем, все это, маршал...

Обрабатываю культю йодом. Онемела культя от жгута. Не чую боли. Йод не щиплет, совсем как вода... Может, контузило так, что стебанулся я? Страшна, маршал, боль, но и без боли в таком происшествии тоже жутковато... Перевязал. Весь бинт на культю ушел. Что голова вся в крови – это я уже не говорю. Это пустяковина.

В глазах черно, между прочим, ночь в глазах, но не придаю я этому значения. А в ушах – тишина. Но бой идет. Чую лишь по сотрясению почвы... Беспмятство вдруг одолело меня, а может, кровищи потерял много и от этого внезапно испекся... Не знаю, сколько времени так прошло...

Очухиваюсь... Фу ты. Есть в глазах свет, в ушах звук, слава Тебе, Господи. Хотя понимаю, что действуют глаза мои и уши не в полную мощь. А были они у меня на удивление, как у собаки, кошки и птицы. Неважно. Лишь бы, думаю, духом не изойти до конца.

Бой, кстати, все еще идет... Медсестер не видать нигде... Поубивало небось сестричек, перебило деточек бедных... Сколько времени, непонятно...

Танки немецкие вроде бы назад откатились. Это я из окопчика зыркаю. Каску Ленину надел. Моя осколком пробита. Но спасла, однако, спасла...

Контратака наша бесполезная, смотрю, пошла. Понимаю,

что чувствуют солдаты гибельную опасность такого боя, всю зрящность его чувствуют, нету в них духовитости ни на грамм. Какая уж тут духовитость? Одно лишь покорное уныние.

Но Втупякин-то прет – комиссарище – сзади, за Родину! За Сталина! – орет. На верную ведь смерть сволочь глупая и тупая, думаю, гонит солдатиков. На верную. На стопроцентную.

Косит фашист солдат, просто аккуратно косит, ибо окопаться успел как следует. Зачем ему своя атака, если Втупякин гонит солдатиков, как скот на советский мясокомбинат, прямо на вражьи пулеметы и минометы?

Боже мой, сколь их на глазах моих полегло...

Вот завернул, согнувшись в три погибели, один солдатик обратно. Втупякин с ходу – пулю ему в лоб... Еще двое завернули. И их выводит в расход Втупякин. С тылу солдатского сподручно ему это. Вот гадина. Спереди немец косит солдатиков, сзади Втупякин бьет в лоб.

Беру, не раздумывая, винтовочку свою, номер вот забыл, скидываю и, спасая от смерти брата своего – солдата, шпокаю Втупякина в спину евонную, портупеей комиссарской перехваченную. Падает с копыт.

Солдаты, вся цепь, враз, как по команде, залегли. И немцы примолкли, не стреляют. Тишина. Словно совесть их взяла стрелять в форменных самоубийц. А могли, могли перебить всех начисто. Может, ждали, что в плен наши сдадутся?. Не знаю. Факт описываю.

Тут туча чернющая небушко застлала. Тьма адская полем боя накрыла, но дождь не пошел. Тошно ему как бы было разбавлять благословенной небесной своей водицей грешную и несчастную человеческую кровь...

Тихо кругом. Ни выстрела, ни голоса. Притомились люди вместе с техникой, и сама собой ночь пришла вскоре.

Зашевелились прилегшие было солдатики. Грязь зачавкала. Ползком кто куда откатились. Отступили. Спаслись для будущего победного боя.

О Втупякине я и думать даже не стал. Полезное в данный момент войны дело сделал для Родины и для народа без сожаления и не сомневаясь ни на грош. Потому что он – Втупякин – убийца был истинный, а не я.

Хотел я крикнуть, спасите, мол, братцы, рот побитый раззявил, а крика-то в нем нету ни на единую букву. Хрип какой-то один. Контузия, видать, не простая. Глаза немного ожили, уши слегка отошли, а голос пропал.

Снова ору. Снова один хрип... Ну, и откатились солдатики без меня, а я в окопчике один рядом с Леней остался. Так-то вот...

Пишу, маршал, по вечерам. Втупякин пьяный дрыхнет в процедурной. До утра продрыхнет, если, конечно, ЧП не случится. Тут всякое бывает. Чаще всех Ленин с молодым Марксом дерутся. Схватят друг друга за грудки и орут, яростно задыхаясь:

– Плевать я хотел на все базисы и надстройки. Я теперь –

субъективный идеалист, – это Карла Маркс орет, а Ленин взвизгивает:

– Мы все равно придем к победе коммунистического труда.

– Нет. Ни за что не придем.

– А вот и придем, и придем, и придем.

– Даже и думать нечего. Не придем. И так уж дошли до ручки, герр Ильич.

– Ликвидаторская рожа, – надрывается наш Ленин, – догматик и архимерзопакостный ревизионистишка.

– Жаль, Фридриха рядом нету. Мы бы тебя головой твоей в парашу затолкали и на Красной площади выставили ногами кверху, как Гегеля, на всенародное обозрение.

– Мелкобуржуазная образина. Ты – подлец и не выдержал испытания времени. Ты сахар экспроприируешь у меня по ночам. Нонсенс. Скотина. Курсив мой. Посмотри на расстановку сил на мировой арене, хулиган. Мы дружной кучкой вместе с политбюро идем по краю пропасти, крепко взявшись за руки. Из конфликта советской власти и партии с народом-победителем выйдет партия и власть, а народ станет эффективным двигателем истории. С кем вы, господин Маркс?

– С кровавой большевистской мразью и философией вшивоты я – Молодой Маркс даже какать рядом не сяду. Понял, сковородка картавая?

Тут Ленин прищуривается, ручки потирает, довольный,

и пользуется самым подковырочным своим оружием. Ехидно так напевает:

– Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара-то Цеткин украла у Карла кларнет... Вот – наша коммунистическая скороговорочка, батенька... Ха-ха-ха... Ты украл у Карлы Клару и кораллы и кларнет.

Это уже драка. Разнимать их приходится. Дадим, бывало, обоим по хребтинам и спать уложим. Тошно нам порою от ихней классовой борьбы, провались она пропадом...

Вот – Ленин опять к перу рвется. Зазудело в нем. Ничего не поделаешь, генсек, кроме как Марксовой истории болезни нету у нас бумаги, а письма, которых я вам штук сорок уже написал, Втупякин к моей истории подшивает, доктором, сволота, мечтает стать на чужой крови и судьбе, скорпионище гадское...

Докладная записка №345/678 рп.

Товарищ генсек, удивлен, что задерживается проведение экспертизы на предмет идентификации проходимца, находящегося в принадлежащем мне (см. пост. ВЦИК от 2.2 1924 г.) мавзолее. Мое заключение в ряде психиатрических домов, эрго, отрыв меня от внутреннего строительства и оперативных задач Коминтерна отрицательно сказывается на расширении сфер влияния Советской власти во всем мире.

Ситуации во взрывоопасной Восточной Европе, равно как и на Кубе, Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Ливии и Никарагуа, нельзя считать стабильными (sic). Давайте посмотрим правде в глаза: многолетняя компрометация идей социализма и особенно коммунизма практикой существования стран так называемого соцлага требует от нас для достижения главной цели – уничтожения старого мирового порядка – новых методов тактики в рамках органически свойственной нашей программе глобальной стратегии и полнейшего политического аморализма.

Объективно детант продвинул наше дело далеко вперед, но посиживание на лаврах – смерти подобно. История не простит нам замораживания наших стратегических классовых активов. Мы обязаны пустить в оборот все завоеванное нами с таким титаническим трудом и невероятные лишения рабочего класса стран социализма за долгие годы детанта – этого начала конца традиционного политического мышления старого мира.

В наших руках, благодаря логике истории, оружие неслыханной силы, а именно: скотское желание всех народов без исключения МИРНО (курсив мой. В. Л.) жить в на части раздираемом противоречиями капиталистическом мире.

Военное превосходство плюс неослабеваемый шантаж угрозой ядерной войны наряду с беспринципной борьбой за так наз. мир во всем мире, с активным подрывом всех экономических, моральных, государственных и правовых и про-

чих структур, изумительно готового к полному уничтожению старого общества, приносят плоды на наших глазах.

Близок час, когда мы вымостим полы в сортирах золотом и бриллиантами чистой воды.

Считаю безотлагательным делом (см. июньские тезисы) строительство мемориальной европейской стены расстрелов и составление списков вырожденцев, подлежащих казни партии и народа, начиная с ведущих банкиров (не забудьте цюрихских гномов. Ха-ха-ха-ха. Смех мой. Вл. ЛУ.) и глав монополий и кончая более мелкой сошкой типа Коррильо, Берлингуэра, Леха Валенсы, Барышникова, Корчного, Солженицына, Рейгана, Максимова, Хейга, Абрама Терца и временно остающихся в живых Битлзов.

Необходимо на все сто процентов использовать пораженческие настроения господ западных либералов левого толка, с их дурацкими (относительно нас. курсив мой. В. ЛУЛЬЯН.) розовыми идеями и декадентствующую интеллигенцию, невыносимо погрязшую в утонченных сексуальных безумствах и наглom наркоманстве.

Существует, однако, опасность забвения предоктябрьского опыта российской истории, приведшего к свержению царизма и недолговременному установлению диктатуры пролетариата, который диалектически перешел после десятилетий красного террора в диктатуру партии – ума, чести и совести нашей эпохи.

Необходимо запомнить: никакое кокетство с объектив-

но и субъективно пораженческими кругами не помешает нам выделить для них в ближайшее время небольшой участок Стены Расстрелов, сиречь стенки (примеч. верно. В. УЛЬ). Возможно, это будут одни из последних расстрелов в предыстории человечества. В коммунизме же, то есть собственно *В ИСТОРИИ* (курсив мой. Вилич.) расстрелы уйдут в далекое и проклятое прошлое, оставшись лишь единственным способом разрешения наших партспоров.

Если прискорбный и неслыханнейший акт отлучения меня от дел и более чем полувековое заточение в дурдомах СССР не помешали победоноснейшему шествию идей социализма и коммунизма по земному шару, то это – лучшее доказательство жизненности учения пожилого Маркса, которое всесильно, потому что оно верно, что бы ни болтал господинчик, прикидывающийся нашим Прометеем. Ничтожество.

Привет тов. Андропову – славному ученику Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Берия и др. за принципиальное отношение к близоруким иудушкам и прочим внутренним диверсантам.

Необходимо, архинеобходимо для нашей политической мобильности раз и навсегда пресечь разговорчики о пресловутых свободах слова, творчества, совести, перемещений, манифестаций и критики в адрес партруководства – этого коллективного разума нашего времени. Ваш в. Л-н.

Прошу управделами совнаркома выделить мне дополнительно 300 (курсив мой. В. У.) грамм сахара для стимулирования высшей мозговой деятельности и прекращения мною ряда вынужденных экспроприаций сладенького из тумбочек господ-диссидентов и прочих врагов трудового народа.

Я – за эксгумирование останков неизвестного солдата с целью нахождения среди них правой ноги тов. Вдовушкина Петра. Во время взятия Зимнего его отец оказал партии ряд неоценимых услуг. Затем был расстрелян за попытку навязать нам дискуссию о социальном перерождении парт-элиты.

Трилогия тов. Брежнева – архиинтересная книженция. До этого генсека в нашей литературе даже меньшевика не было, не то что ликвидатора. Просто – глыба. Матерый человечик. Скиньте к чертовой бабушке господина Достоевского – этого трупопоклонника – с фронтона библиотеки, заслуженно носящей мое имя, и присобачьте туда, батеньки, бюст нашего партийного писателя М. 1. Рекомендую присвоить Л. И. Б-У. звание вождя современного лит-процесса. (См. мою работу «Беспартийная мразь в литературе и очередные задачи красного террора в связи с его расширением в особо важных регионах мира».)

Ваш Ичьлиульян.

Весьма удивлен, что тов. Брежнев въехал в Париж во время своего визита во Францию не на броневике, который я,

кажется, предоставил к услугам партии и народа, а черт знает на чем, чуть ли не на «кадиллаке». Нонсенс, товарищи.

Ваш Чичь Нинел.

Бросьте все средства на усиление конфронтации арабских стран с Израилем – этим уродливым порождением бундовщины и гадкой исторической плантацией опиума для народа. Не забывайте, что все абсолютно источники нефти станут главным фактором организации всемирного экономкризиса, который позволит взять нам власть в свои руки в основных капстранах мира.

Пора уже сказать нефтяным шейхам всех мастей: шагом марш из-под дивана... И дайте же мне наконец свидание с Наденькой, имманентно необходимое нашей сощячейке с 1924 года.

Ваш Владимильичле.

Долго больно писал наш Ленин, генсек. Зря вы его держите тут без экспертизы. Очень зря. Видно ведь, что умный человек и говорит занятно. Может, верно, что если бы он лежал в Мавзолее, а не какой-то другой хмырь полуболотный, то давно бы уже всем войнам пришел конец, несправедливости, капиталистам, забастовкам в Польше, танцплощадкам и прочему старому миру. Кто знает? Так зачем Втупякин, гаденыш, издевается над самым настоящим Ильичом? Он что сказал, пьяная харя, третьего дня?

– Выдь-ка Ильич сраный, Ленин затруханный на балкон

из моего кабинета. Хватит тебе тут прищуриваться и жилетку несуществующую большими пальцами растопыривать. Выдь!

Но Ленин-то наш не будь дураком отвечает:

– С детства боюсь высоты, эрго на балкончик не выйду, батенька. Сыграйте мне лучше сонату, после которой хочется умыть руки и гладить по головкам.

– Вот я тебя змей, и подловил, – обрадовался Вступякин. – никакой ты не Ленин, потому что Ленин с балкона балеринки Кшесинской выступал, речугу кидал народу и, заметь, не блеванул на него сверху вниз ни разу. Эрго: не Владимир ты Ильич Ульянов-Ленин, а мерзавец и симулянт, растративший миллион казенных рупчиков в Сочи, Ялте, Вильнюсе, Москве и в Тбилиси, а теперь голову морочишь здесь отечественной психиатрии – науке нового типа, грудью вставшей на защиту советской власти от дружков твоих по палате. Мы вам, обезьянам, вернем человеческий облик. Что ты, что Маркс – одна сволота. Марш под душ Шарко.

Ну, Ленин наш, как всегда, в слезы, но руку вперед выбрасывает с форсом эдаким комиссарским и на весь дурдом орет:

– Мы придем к победе коммунистического труда. Мавзолей – не купе бронепоезда. Вон из Мавзолея симпатичного грузина. Капитал растратил не я, а Маркс...

Если вы там у себя в Кремле считаете, что в Мавзолее настоящий лежит, а не туфтовый Ильич, то чего же вы этого

не расстреляете? Почему отпечатки пальцев не делаете нашему по его же просьбе? Разве он стал бы просить сравнивать свои пальцы, если бы не чуял, что он – эрзац-Ленин? Нет. Никогда... Или взять меня, маршал.

Почему я требую вырыть (можно втайне от простых людей доброй воли, чтоб не расстраивались они) остатки друга моего Лени и среди них опознать мою личную правую ногу? Потому что она там и нигде ей больше быть, кроме как там, с Ленею вместе. Вырой ты ее, и сразу тогда станет ясно, что не Вдовушкин стал неизвестным солдатом, а Байкин Леонид Ильич, чью фамилию ношу с 1941 года ровно в четыре часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война... Моя там нога. А иначе разве стал бы я заваривать такую неприятную для всех кашу? Я по совести желаю и по чести. Неужели же легче измываться тут надо мною, лекарства венгерские и восточногерманские изводить на меня целую кучу, электротокотом трясти, на ветер его пуская кормить, лекции про «Малую землю» читать и санитаров держать с тигриными рылами, чем на пару только минут вырыть из земли мою оторванную ногу, анализы взять костей и портянки, сравнить, одним словом, и сомнений не осталось бы, насчет того, кто есть кто. И все И никто передо мною виноват не будет, а буду виноват перед всем миром один я за укрывательство своего имени, измену отечеству и переломанную тем самым судьбу... Подумайте...

Лежу я, значит, маршал, в окопчике, Ленею по чистому,

холодному уже лбу глажу... А боль вдруг засадила в культе, притекла, зараза, наконец, хоть вой как собака, непонятно кому жалуясь. Мочи моей нет, ровно не кровь течет от куль-ти к мозгам через сердце и обратно, а боль, густая такая, све-ребная боль.

Нет, думаю, от боли я помирать не желаю. От раны – по-жалуйста, а с болью я свыкнусь. Нам к боли не привыкать. В НКВД было дело, два месяца держали, шили попытку вы-мачивания картошки перед посевной с целью убийства уро-жая для голода в Москве. Картошку дурак пьяный из рабоче-го класса, дубина райкомовская – Втупякин приказал выма-чивать, ускорять по-большевистски цикл роста упрямых рас-тений, а меня за него день и ночь колошматили, признавать-ся велели подобру-поздорову. Втупякин сам и пытал меня со своим дружкой из НКВД вместе... Бывало, в общем, и те-лу и душе побольней, чем в окопчике. Выдюжил. Выгнали. Прямо с печи с ребрами сломанными в поле погнали остатки картошки той изуродованной убирать... Втупякину же, слух пошел, расстрел вышел сверху...

Не желаю от боли помереть. Сильней я боли. Ползу из окопчика, благо луна выглянула на чуток и офицера немецкого различаю совсем рядышком... Ползу к нему в на-дежде и мольбе... Шмонаю ранец офицерский. Про боль за-был враз... В ранце – фляжка, жратва, медицина всякая, тро-фейных орденов Ленина целая куча – на зубы золотые род-ственникам в Берлине...

Отступаю на исходный рубеж. Боль снова забрала вдруг, да так, что в беспамятство пару раз погружался... Ничего. Дополз с Божьей помощью.

– Леня, – говорю, – как бы мы сейчас с тобой гужанулись, может, в последний раз перед новым, смертельным для нас боем. Смотри, друг. Вот коньяк, он не водка, конечно, клопами отдает, но закосеть можно. Вот колбаса наша любительская, врагом завоеванная, хлеб есть, Ленечка, сыр, масло, яйца, смотри, как запасася офицерик несчастный, словно к бабе в гости шел, а не на военную операцию. Отбили-таки мы у него кровную жратву нашу. Отбили, но с большими потерями, Леня...

Погиб мой дружок, помалкивает. Но Душа его поблизости находится, чую я это замечательно и поминаю вместе с нею Леню, друга моего фронтового, печально и светло поминаю, жахаю коньяк из горла.

Стихает боль. Слабо, но стихает... Ни звездочки на черном небе, ни звука на поле боя, лишь сердце стучит жарко, боль тупо топчется в жалкой культе... Один я, поистине один во всем мире, растерзанный проклятым военным железом, рваными его кусками...

А зачем я, думаю, растерзан? За что ногу я свою потерял? За то, что лобызались два бандюги, обнимались, а потом тот, который поумней и позадиристей, приделал к носу тухлую морковку скотине несусветной – Сталину?.. Зачем я нахожусь в данный момент истории своей Родины не на крова-

ти двуспальной рядом с женой желанной, с красавицей моей розовой после баньки, сам – чистый и сильный, а в углублении валяюсь могильном, разве что не закопан только и нет мне помощи ни от врагов, ни от своих? Зачем?.. Что же они – проклятые эти политики и вожди в игры нас свои кровавые замешивают, сами в подземельях с бабами своими и дружками посиживают, по картам смотрят поля боев, а мы тут отдуваемся по пояс в землю вбиты с оторванными руками, ногами и головами. При чем здесь мы?.. По какому такому закону жизни?..

Глотнул еще маленько – мозги прочистить от заковырочных вопросов. Да, говорю, Леня, видать, имеется суровый и глупый закон, по которому вожди проклятушие (почему ихним батькам вовремя дверью в амбаре женилки не прищемило?) кашу вожди кровавую заваривают, а нам – беднягам – ее положено расхлебывать от века... На то мы, Леня, и солдаты, защитники. И если бы не мы, то кто за нас Землю нашу невинную защищать будет? Вожди? Они, Леня, обдрищутся пять раз со страха и захнычут: «дорогие братья и сестры». К нам – к народу обратятся за спасением и мы их, гадов, спасти вынуждены вместе с Родиной, потому что в Родину несчастную они все как клещи вцепились, особенно Сталин, и их уже никак от нее не оторвешь. А если бы можно было оторвать, то я бы, видит Бог, поначалу до открытия военных действий оторвал их, выкинул к чертям на необитаемый остров, и пушай они там с жульверном фантазируют, суки. Во-

жди – они, Леня ты мой бедный, на погибель и большую беду нам дадены, а вот мы вручены им на ихнее паразитство и спасение. Тут уж ничего не поделаешь... Судьба это наша, а главное – грехи наши тяжкие, как бабка говаривала. Царство ей Небесное... Повезло-таки старухе: перед самой войной померла... Вот мы лежим тут с тобой, колбасу любительскую у врага отбив, а также сыр и яйца крутые и трофей взяв – коньяк. И на нас, Леня, вся тяжесть сейчас. Выдюжить надо во что бы то ни стало. Сначала фюрера – глистопера усатенького к ногтю приделаем, а потом, может, и за друга его возьмемся, чтобы запел он да кучу в кальсоны наложил, где же ты моя Сулико?..

Тут, маршал, хочешь верь, хочешь не верь, засмеялся я, как дурачок, и вдруг потрясло что-то душу мою грешную и бедную, веселье жизни ее, по всей видимости, потрясло, и запел я ни с того ни с сего, пьяный, разумеется, был: *«синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... 22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... порой ночной мы расставались с тобой... чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»*

Конечно, маршал, в песне про бабу говорится и как уходить от нее ночной порой неохота, но на самом, конечно, деле песня эта про Родину, и не то что *«широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»*, а с душою,

по правде сердца и без всякой враки комиссарской. Не знаю, кому до войны вольно дышалось. Небось только падле уса-той и своре евонных молотовых, Калининых и Кагановичей, а нам даже в колхозе вольно дышалось лишь запершись в нужнике собственном... Ну, это ладно...

Пою, ожил голос контуженый, горланю во все горло, слезы текут прямо в рот, рыло стянуло грязью подсохшей, горе и боль разрывают все нутро, но что-то неудержимо поднимает душу мою из этого окопчика, страшно даже, чудесно даже, пою, однако, и пою, и внятно жаль мне Леню, и небо чернящее, и себя-калеку, и Нюшку, Настеньку, Анастасию – жену молодую, непробованную как следует, двух дней не дал пожить Втупякин – военком проклятый, и гораздо больше, чем всех, жизнь мне вообще жаль, всю жизнь, что мы лю-ди, сволочи, делаем с нею, во что мы поле превратили, за-чем хлеб несжатый с костями смешали мы, с кровью, с плоть-ю, с землей, зачем синенький скромный платочек, Госпо-ди, прости и помилуй, *падал с опущенных плеч... строчит пулеметчик за синий платочек... идет война народная, свя-щенная война-а-а...*

И что это? Слышу вдруг солдатское наше ура, да такое богатырское, что, будь я врагом в тот миг, непременно обд-ристался бы от ужаса.

Во тьме кромешной, в ночи, когда вроде бы сами фрицы умаялись вусмерть воевать, когда вроде бы судьбой самой выделено милостиво времечка маленько для передыху, под-

нялись солдаты и поперли, и чую я, что не Втупякин их гонит с тылу дулом в спины, а по личному почину «Ура-а-а!» горланят и прут на врага уже неостановимо, потому что не дурак солдат «уракать» далеко от вражеской позиции.

Поздно было клевавшему носом фрицу-фашисту гоношиться. Поздно.

Я и на слух понял, как там дело обернулось. Посочувствовал, грешен, немцу, ибо не могу злорадствоваться, когда даже врагу моему штык в пузо втыкают до кишок самых и изо рта его такой звук возникает смертный, что зверь содрогнуться может, не то что живой человек. А если не один десяток людей хрипит, стонет и крикает, попав на штык?.. Но и не лезь за чужим добром, скотина, сам виноват, небось в ранце у тебя наша колбаска валялась любительская, а не я за твоими сосисками с капустой поперся в Баварию... хрипи теперь, гад, в последнем покаянии и вине твоей передо мной.

Отыгрались, чую, солдаты наши за прошедшие в отступлениях и смертях страшные дни... «За Родину-у! Ура-а-а!!» «За Сталина» чтобы орали солдаты – не слышать. Если б не комиссары, солдат про эту рябую, разбойную рожу вообще бы на войне позабыл к чертовой матери...

Я, конечно, ору им вслед: «Братцы-ы-ы... братцы-ы-ы...» Молчок. Ни ответа, ни привета. Вдогонку бросаться за ними на последней ноге – не было во мне, маршал, такого героизма, виноват...

Бог с вами, думаю, валяйте, раз прорвали окружение, я

для вас – верная обуза, ярмо на шее, веревки на руках, сам выкрутиться из лап смерти мосластой попробую...

Солнце тут вышло. Заря. А от нее совсем поле боя чертовой багровой жутью застлало. Все багровое – пушки, трубы, танки брошенные, рожь полегшая. Земля, развороченная и выпотрошенная как бы до самого нутра, кровью истекает бесполезной... Из культи сразу боль в душу мою поднялась, один я – живая личность – на поле боя кровавом, и потом вдруг пришибло меня от стыда и позора.

Смотрю из окопчика на небо, на поле и краснею, маршал, перед Всевидящим, как пацан перед батькой, нашкодивши чего-то. Краснею, взгляда Его не выдерживаю и чувую, что наделали мы, люди, опять такого зла ужасного, опять наделали такого зла, непонятно, ради чего наделали и как это вообще могло произойти, что только краснеть остается и возжелать сей миг сквозь землю истерзанную провалиться, лишь бы не видеть дел рук наших, непосильных для уразумения. Наверно, если б вторую ногу оторвало мне тогда миной, то легче было бы во сто крат: понес бы я наказание, точно зная, за что несу его, и, может, душа не скулила бы так безысходно... Вот как дело было на Земле, а что такое малая земля, я не понимаю. Скорей всего – луна, где жизни нет, одни оспины каменные, как на роже у Сталина... Но – ладно...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.